

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. КОНЕЦ <i>LAISSEZ FAIRE</i> . . . . .	7
ГЛАВА 1. ОТСАИВАНИЕ РЫНКА ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА . . . . .	21
ГЛАВА 2. В ПОИСКАХ СВОЕГО «Я» . . . . .	69
ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОТИВ ПЛАНИРОВАНИЯ . . . . .	105
ГЛАВА 4. НОВЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ . . . . .	145
ГЛАВА 5. ФЕНОМЕН МИЛТОНА ФРИДМЕНА . . . . .	177
ГЛАВА 6. МОРАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ . . . . .	215
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДУХ ЭПОХИ . . . . .	247
ПРИЛОЖЕНИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ Л. ФОН МИЗЕС. СМЫСЛ <i>LAISSEZ FAIRE</i> . . . . .	261
ПРИМЕЧАНИЯ . . . . .	265
ОТ АВТОРА . . . . .	311
УКАЗАТЕЛЬ . . . . .	313

*Посвящается Кейт*

# ВВЕДЕНИЕ

## Конец *laissez faire*

Поздней осенью 1924 г. Джон Мейнард Кейнс уверенно вошел в здание Экзаменационного корпуса в Оксфорде и объявил, что политическая экономия цивилизованного мира приближается к концу *laissez faire* (так ни много ни мало гласило название его лекции\*\*). Хотя Кейнсу был всего 41 год, он уже приобрел обширный опыт, совершенно уникальным образом объединивший замкнутый мир оксфордско-кембриджских экономистов с реальной практикой. Детство он провел в кембриджской преподавательской среде, в 25 лет получил в Королевском колледже персональную стипендию за отличные успехи и меньше чем через три года был назначен редактором журнала «Economic Journal». Карьера государственного служащего вознесла его от младшего клерка в Департаменте по делам Индии до главного представителя Казначейства на мирных пере-

1\*

---

\* На полях под чертой указано начало страницы по английскому оригиналу. См. указатель.

\*\* *Laissez faire* – первая часть классической максимы, предписывающей государству не вмешиваться в хозяйственную деятельность частных лиц: *laissez faire, laissez passer* (позволяйте делать, позволяйте двигаться (*фр.*). Источником происхождения этого выражения считается ответ фабриканта Лежандра главе правительства Людовика XIV Жану-Батисту Кольберу, спросившему, что он может сделать для промышленности: «Laissez nous faire» («Позвольте нам действовать»). Впервые записана в 1736 г. в рукописных мемуарах пересказывавшего эту историю маркиза Рене-Луи д'Аржансона (1694–1757), экс-министра Людовика XV и руководителя внешней политики Франции в 1741–1747 гг. (Подробнее см.: *Онкен А. Максима Laissez faire et laissez passer, ее происхождение, ее становление: к истории теории свободы торговли*. М.; Челябинск: Социум, 2017 (готовится к печати).)

Каково бы ни было происхождение этой фразы, сама доктрина возникла естественным образом на рубеже XVII–XVIII вв. как протест против избыточного регулирования промышленности со стороны правительства. Содержательно первая часть этой фразы означает требование *свободы предпринимательства*, вторая – требование *свободы торговли*. Влияние доктрины *laissez faire* на реальную жизнь достигло апогея около 1870-х гг. (См. также комментарий о манчестерском либерализме на с. 76.)

В первой трети XIX в. для обозначения экономической политики *laissez faire, laissez passer* появился подходящий термин – либерализм. Но уже к концу XIX в. он был присвоен противниками этой идеологии: почти все, кто называли себя «либералами» в конце XIX – начале XX в. выступали за ограничение частной собственности и отстаивали мероприятия частью социалистические, частью интервенционистские.

В связи с тем что эта доктрина часто упоминается на страницах книги Э. Бёргина без изложения ее содержания, мы решили опубликовать в качестве Приложения к русскому изданию параграф «О смысле *laissez faire*» из главного сочинения одного из героев этой книги Л. фон Мизеса. – *Прим. науч. ред.*

говорах в Версале. А теперь он занимался разработкой целостной теории политической экономии, которая должна была заменить увядающие доктрины предшествовавшего столетия<sup>1</sup>. «Мы пока еще не танцуем в такт с новой мелодией, — говорил он своим слушателям. — Но перемены уже витают в воздухе»<sup>2</sup>.

Сама идея *laissez faire*, считал Кейнс, — это извращение подлинных взглядов ее предполагаемых сторонников. «Фразу *laissez faire* не найти в работах Адама Смита, Риккардо или Мальтуса, — говорил он слушателям. — Даже формулировки самой идеи в скольконибудь теоретической форме у них нет». На самом деле эта идея «присутствует у популяризаторов и вульгаризаторов»<sup>3</sup>. Желая ознакомить с экономическими идеями несведущие массы, они намеренно сводили эти идеи к абстрактным догмам, доступным пониманию ограниченных людей<sup>4</sup>. Усвоив эти урезанные наставления, широкая публика стала «рассматривать упрощенную гипотезу как нечто здоровое, а ее последующие усложнения — как болезненное»<sup>5</sup>. В результате возник растущий разрыв между популярными представлениями и научными взглядами. Несмотря на устойчивую популярность идеи *laissez faire* и широко распространенное убеждение, что эта идея господствует в умах большинства экономистов, ведущие мировые представители экономической науки более 50 лет использовали ее только как, по словам Джона Кэрнса, «удобное правило практики» без «какого-либо научного обоснования»<sup>6</sup>. Кейнс представил внушительный список «усложняющих условий» применения *laissez faire*, которые большинство ведущих экономистов принимали и старались встроить в свои теории, в том числе: «если присутствуют накладные расходы или общезаводские расходы», «если экономия на масштабе ведет к концентрации производства», «если требуется много времени для приспособления <к изменившимся условиям на рынке>», «если незнание превалирует над знанием», «когда монополии и объединения нарушают равенство при заключении сделок»<sup>7</sup>. Этот список неявно охватывал значительные сегменты экономики свободного предпринимательства. Иными словами, *laissez faire* было мертво, и оставалось только оповестить об этом публику.

Кейнс выделил ряд причин, благодаря которым концепция *laissez faire* продолжала доминировать вопреки ее, по мнению Кейнса, несомненному интеллектуальному банкротству. Первая и самая главная состояла в том, что главные альтернативы *laissez faire* на идеологической арене, протекционизм и марксизм, имели «очевидные изъяны в научном плане», которые позволяли сторонникам

*laissez faire* легко и убедительно опровергать эти теории. К марксизму Кейнс не питал никаких симпатий и просто поражался тому, «как могло учение столь нелогичное и скучное оказать столь мощное и длительное воздействие на умы людей и через них на события истории»<sup>8</sup>. Экономисты пытались преодолеть общий настрой в пользу *laissez faire*, но доводы их были либо чересчур замысловатыми, либо легковесными. Те из них, кто выступал за рыночную систему, снабженную сложной системой ограничений, сами ставили себя — именно по причине сложности своих теорий — в крайне невыгодное положение, потому что их мало кто понимал. А если полемика переходила, как нередко бывало, в состязание между абстрактными обобщениями, идею *laissez faire* все равно было легче понять, чем ее равно упрощенные альтернативы. Наконец, предвзятость в пользу совершенно свободных рынков близко соответствовала «нуждам и желаниям делового мира того времени»<sup>9</sup>. У приверженцев *laissez faire* были богатые и влиятельные спонсоры, которые всегда могли подобрать им высокопоставленных слушателей в коридорах центральной власти.

Кейнс был убежден, что хотя идея *laissez faire* пользовалась объективными преимуществами, ее господство в публичном поле постепенно сходило на нет. В данном отношении убежденность Кейнса отчасти объяснялась его хорошо известной верой в способность экономических идей со временем проникать в практику повседневной жизни. Рано или поздно, полагал он, почти единодушно-отрицательное отношение экономистов к *laissez faire* найдет свое выражение в представлениях, которые разделяет широкая публика. Пожалуй, еще более важным Кейнс считал то обстоятельство, что институциональная структура бизнеса содействовала снижению преобладающей роли мотива прибыли. Разделение владения и управления в современных организациях побуждало, по мнению Кейнса, придавать меньше значения дивидендам. Руководители стали думать о том, что важнее — получить больше прибыли или избежать возможного неодобрения со стороны своих покупателей и широкой публики, и все больше отдавали предпочтение второй задаче. Компании «с течением времени обобществляются изнутри, — заключал Кейнс. — Ежечасно на одном участке за другим социализм теснит неограниченное господство частной прибыли»<sup>10</sup>. Весомость экономических доводов и институциональной практики сливалась воедино, чтобы перевернуть экономические представления, просуществовавшие гораздо дольше, чем следовало. Нападать на *laissez faire* значило нападать на «обессилевшего монстра», который, по словам Кейнса, «господст-

вовал над нами в силу наследственного права, а не в силу личных заслуг»<sup>11</sup>. Он не сомневался, что с этим монстром будет покончено.

Кейнс не оставил полноценного изложения своих политических взглядов. Хотя в «Конце *Laissez faire*» и можно найти намеки на разработку новой социальной философии, они, как отметил главный биограф Кейнса, слишком фрагментарны, чтобы видеть в них кейнсианский манифест<sup>12</sup>. Маловероятно, чтобы человек масштаба Кейнса стал подробно разъяснять основы своего мировоззрения в выступлении, по времени точно уложенном в пределы университетской лекции. Тем не менее лекция дает хорошее общее представление о позиции Кейнса, который выступал за рыночную систему, освобожденную от худших ее недостатков. Капитализм, подчеркивал он, это тип социальной организации, продемонстрировавший незаменимые достоинства и вместе с тем неоспоримые изъяны. «Со всей стороны, — говорил он аудитории, — я считаю, что при разумном регулировании капитализм можно сделать более эффективным в достижении экономических целей, чем любая другая мыслимая система, но сам по себе он вызывает возражения во многих аспектах»<sup>13</sup>. Кейнс рисовал в своем воображении государственный сектор, который будет прибегать к ограниченному, но энергичному вмешательству и решать проблемы, порождаемые самостоятельной деятельностью индивидов. «Важно, чтобы государство не занималось тем, что индивиды и так уже делают сами, и не делало это чуть лучше или чуть хуже, — объяснял он, — а в том, чтобы делать то, что сейчас не делается вообще»<sup>14</sup>. С помощью таких актов вмешательства можно смягчать последствия провалов рынка, не причиняя вреда его фундаментальным устоям. Предлагаемые изменения, утверждал Кейнс, отнюдь не являются «принципиально несовместимыми с тем, в чем я вижу сущностное свойство капитализма, а именно с опорой на мощные инстинкты, побуждающие людей стремиться к выгоде и любить деньги, как на главную движущую силу экономического механизма»<sup>15</sup>. Конец *laissez faire* вовсе не означал для Кейнса конца рыночной жизни. Это, считал он, был способ ее сохранения с помощью ограничения.

Лекция Кейнса — пророческое предвидение и вместе с тем основополагающий документ эпохи, когда убеждение в необходимости повсеместного контроля над рынками стало почти всеобщим. Но уже в середине 1920-х годов в некоторых откликах на его лекцию, прозвучавших в профессиональной экономической среде, выразилось недовольство тем, что он обошелся с *laissez faire* слишком благородно<sup>16</sup>. После того как в конце десятилетия разразилась Ве-

ликая депрессия, еще сохранявшиеся симпатии к свободному рынку быстро угасли. Правительства приняли широкий ряд мер — от введения новых таможенных пошлин до отмены золотого стандарта и запуска широких социальных программ, — которые, по широковещательному заявлению Эрика Хобсбаума, «ликвидировали экономический либерализм на полвека»<sup>17</sup>. Престиж экономической науки, которая оказалась явно неспособной предсказать наступление кризиса, стремительно скатился с высот предшествовавшего десятилетия на небывало низкий уровень<sup>18</sup>. Даже те экономисты, которых сейчас помнят как самых стойких сторонников свободного рынка в годы Великой депрессии, в конце концов пришли к убеждению, что их время прошло. Письма чикагского экономиста Фрэнка Найта наглядно свидетельствуют о том, насколько печальной оказалась участь *laissez faire*. «Мы не можем вернуться к *laissez faire* в экономической науке даже в нашей стране», — писал он коллеге летом 1933 г. «Сейчас мне представляется неизбежным, что мы должны перейти к регулируемой системе», — написал он позже в том же году, добавив, что его волнует только один вопрос: «Можно ли сохранить в сколько-нибудь значительной степени хоть какой-то вид свободы, особенно свободу потребления и интеллектуальную свободу»<sup>19</sup>. 1930-е годы были эпохой, когда даже многие самые красноречивые защитники рыночных свобод из числа профессиональных экономистов осознали, что теперь им придется вести себя значительно тише.

Несмотря на всю свою несомненную прозорливость, прогнозы «Конца *laissez faire*» не сбылись в одном принципиально важном пункте. Кейнс был прав, полагая, что общественные симпатии к *laissez faire* стояли на пороге стремительного падения, но ошибся в том, что эта перемена навсегда. Во время Великой депрессии идеология свободного рынка пережила период переосмысления и потеряла многих сторонников, но никоим образом не пришла к «концу». Напротив, история половины столетия после начала экономического кризиса — это отчасти история ее триумфального возвращения. В 1980-е годы дебаты в англо-американской публичной сфере были пронизаны убеждением в необходимости защитить деятельность свободного рынка от попыток государственного вмешательства. Обладатели самых почетных наград по экономике призывали значительно сократить государственный сектор; сформировалось быстро растущее сообщество щедро финансируемых аналитических центров, распространявших идеи свободного рынка; многочисленные журналы и газеты создавали себе репутацию, выступая как публичные проповедники *laissez faire*. Президент США и премьер-министр

Великобритании считали себя преданными союзниками свободного рынка и подкрепляли свои политические идеалы ссылками на его главных идеологов<sup>20</sup>. Теперь уже не *laissez faire*, а кейнсианство стало выглядеть пережитком быстро уходящего экономического мира.

События, ускорившие такую эволюцию массовых представлений о политической экономии, еще только начинают осмысляться. Стоит отметить, что их последовательность определяется той же самой связью между идеями и политическими переменами, которой Кейнс обосновывал свою уверенность в скором конце *laissez faire*. Трансформация общего отношения к рынку происходила на разных уровнях, и в этом процессе важную роль сыграли множество людей и организаций, но она не произошла бы, если бы ее не подготовили сосредоточенные усилия международного сообщества идейных единомышленников. Если Кейнс трудился, причем с очевидным успехом, над разработкой и распространением концепции, объяснявшей, в каких случаях вмешательство государства может быть благотворным, то сообщество философов, экономистов, журналистов и частных фондов по всему атлантическому миру объединило силы ради того, чтобы обратить вспять рост влияния государства и вновь направить общественное мнение в поддержку идей свободного рынка. Эти удаленные друг от друга союзники пережили невзгоды экономической депрессии и войны, в последующие годы испытали равнодушное отношение общества, встретились с препятствиями в научной карьере, пережили бесчисленные политические поражения, пока, наконец, не перешли к необыкновенно быстрому институциональному и идеологическому подъему. Как бы ни складывалась обстановка, они неустанно работали над новой философией свободного рынка и сохраняли твердую уверенность в том, что их абстрактные размышления смогут — со временем и с помощью внешних событий — преобразовать практику широкой политики. Это история сообщества, которое им удалось создать, идей, которые они отстаивали, и долговечных плодов их стремления возродить теорию и практику капитализма.

Хотя в течение трех последних десятилетий сторонники свободного рынка играли центральную роль в американской политике, оказалось, что историю их возвращения на вершину проследить не так-то легко. Многие годы комментаторы и эксперты ломали голову, чтобы объяснить, как и почему превознесение рынка и осуждение планирования вновь овладели общественным сознанием после долгого пребывания в забвении<sup>21</sup>. Они выражают недоумение по



поводу популистского подхода к экономической политике, которая, видимо, только ухудшала положение бедных<sup>22</sup>. И они считали мало последовательной политическую коалицию, которая призвала к сохранению социальных традиций и в то же время поддерживала рыночную систему, часто и порой совершенно безжалостно подрывавшую эти традиции<sup>23</sup>. Наиболее влиятельные объяснения этих феноменов уже давно обращали внимание на социальные факторы, скрывавшиеся за абстрактными формулировками политических и экономических идей, — такие как тревога по поводу снижения статуса в быстро меняющейся культурной и технологической среде и желание создать «бесцветный» язык, способный сохранить расовые привилегии, которым, казалось, грозила опасность исчезновения<sup>24</sup>. Но при отсутствии убедительной картины развития консервативных идей будет по-прежнему трудно представить контуры движения, которое оказало разностороннее влияние на структуру общественной дискуссии.

Едва ли кто-то будет отрицать, что консервативное движение было среди прочего реакцией на социальные и расовые тревоги, получало поддержку от многих из тех, кто, скорее всего, ничего не выгадал бы от его экономических предложений, и порой одновременно проповедовало диаметрально противоположные взгляды. Но эти объяснительные модели являются своего рода аналитической вуалью, которая скрывает важные аспекты движения. Мы не поймем социальную философию правильно и полностью, если будем сводить основные ее положения к социальным и материальным интересам или, напротив, выделять из ее догматов жестко формализованные схемы. Понятие *homo oeconomicus*\* полезно только в качестве формальной абстракции, и мало кто из нас пройдет интерпретативный тест, который не выявит противоречия между разными аспектами заявленного нами мировоззрения. Наше восприятие социальной среды бесконечно сложно, и наши политические представления формируются под влиянием динамичного и постоянно меняющегося взаимодействия между абстрактным идеализмом, целенаправленной стратегией, эмоциональной склонностью и интуитивной реакцией. Они служат своего рода предварительной и ситуативной ответной реакцией на запросы никогда до конца не постижимого мира. Чтобы понять, почему те или иные люди считают правильным то, что они делают, и оценить соотносительную обоснованность их убеждений, необходим

---

\* Человек экономический (лат.). — Прим. ред.

анализ, который учитывал бы всю сложность природы рассматриваемых проблем.

В последние годы появились серьезные критические работы, посвященные таким наиболее сложным и влиятельным фигурам консервативного движения, как Лео Штраус, Фридрих Хайек, Уиттакер Чемберс и Айн Рэнд<sup>25</sup>. В исследованиях о развитии консерватизма на низовом уровне заметно добросовестное и настойчивое желание уяснить мировоззрение представителей этого движения<sup>26</sup>. В новых работах прояснены социальные и культурные истоки мощной комбинации прорыночной идеологии и евангелического христианства<sup>27</sup>. Все больше авторов приступили к гигантской задаче каталогизации и хронологизации институциональных структур, которые способствовали укреплению и распространению консерватизма в общественной сфере. Это развивающееся исследовательское направление начало распутывать сложные узлы переплетения интересов, возникавшие в течение XX в. между бизнесменами, финансовыми организациями, политическими ассоциациями и сторонниками свободного рынка<sup>28</sup>. Оно выявило связи между холодной войной, Rand Corporation и взлетом теории рационального выбора в современной дискуссии по вопросам социально-экономической политики<sup>29</sup>. Оно выявило институциональные рычаги, которыми консерваторы манипулировали, чтобы преобразовать юридическую практику<sup>30</sup>. И оно помогло понять, какую важную роль сыграли популярные проповедники, вербовавшие сторонником в широчайшей аудитории журнала «National Review»<sup>31</sup>. В совокупности все эти результаты привели к эпохальному прорыву в написании истории консерватизма. Сейчас мы уже хорошо знаем, какие идеи и какие интеллектуалы сыграли ключевую роль в консервативном повороте, какие активистские (*advocacy*) организации были задействованы как важнейшие средства побуждения к политическим переменам<sup>32</sup>.

Эта книга дополняет описанный выше корпус литературы и вместе с тем содержит ряд существенных уточнений. Она предлагает подробный анализ консервативных идей, в духе интеллектуальной биографии — в этом жанре она в основном и выдержана — и сводит главных героев в диалог друг с другом. Внимательно прослеживая связи и процессы интеллектуального обмена, она уделяет значительное внимание институциональному контексту, но не исходит из того, что среда оказывает подавляющее влияние на формирование и распространение идей. Она отказывается от строгого соблюдения национальных границ, которое до сих пор определяло параметры исследования истоков консервативного движения. Если говорить

о главном, это повествование прослеживает, как его центральные персонажи формировали, объясняли и обосновывали свои идеи, как они поочередно воздействовали на мнения друг друга и оспаривали их, как оперировали подчас рискованными связями между политикой и философией и как со временем их допущения и аргументы постепенно, но кардинальным образом менялись. Эта книга не рассматривает идеи ни как чистые абстракции, возникающие в сфере, совершенно отделенной от политики, ни как простые инструменты, которые используются для осуществления желаемого изменения. Ведущие представители консервативного интеллектуального мира, как и большинство из нас, занимались тем, что спокойно, а порой сами того не сознавая, путешествовали сквозь проницаемую границу между двумя этими определениями.

Завершая «Конец *laissez faire*», Кейнс напомнил аудитории, что обсуждения отвлеченной экономической теории нередко равнозначны дебатам о том, в каком мире мы хотим жить. Проблемы экономической теории невозможно четко отделить от философских проблем. «Самые жаркие споры и самые глубокие расхождения во мнениях, — предсказывал он, — в ближайшие годы, скорее всего, возникнут не вокруг узкоспециальных вопросов, где доводы каждой стороны в основном экономические, а вокруг тех, которые, за неимением более точных терминов, можно назвать психологическими или, если угодно, моральными»<sup>33</sup>. Дискуссии по вопросам экономической политики ведутся на двух уровнях: они включают соображения о том, как наиболее эффективно достичь конкретных целей и каковы должны быть сами эти цели. Адвокаты той или иной позиции в политической экономии имеют мало шансов заручиться поддержкой на политической арене, если не уделяют пристального внимания второму аспекту и не стараются выделить его риторическими средствами. Намерение трансформировать экономическую политику (практически всегда) требует способности существенно модифицировать смыслы, которые члены сообщества извлекают из своего мира или приписывают ему.

В разгар Великой депрессии сторонники рынка остро осознали, что социальная философия свободного рынка не пользуется поддержкой ни в научной среде, ни в господствующей политике. Стремясь преодолеть изоляцию, они начали создавать неформальные кружки единомышленников, которые могли бы совместно проводить переоценку философских оснований их идей и разрабатывать новые способы представления этих идей обществу. Со временем

они формализовали эти связи: создали систему регулярных встреч для обмена идеями и институциональные органы для популяризации своей позиции в сфере социально-экономической политики, нашли источники финансовой поддержки. Многие из этих новых организационных форм были впервые опробованы в Обществе Мон-Пелерен. Эту группу в 1947 г. основал Фридрих Хайек как международную площадку для ведущих философов, экономистов, журналистов, политиков и благотворителей, которые занимали прорыночную позицию<sup>34</sup>. Хотя исследователи уделяли этому обществу не очень большое внимание, оно уже давно считается прародителем социальной философии, получившей название «неолиберализм», а также местом зарождения разветвленной сети политических организаций, которые в конце XX в. идейно вдохновляли и консультировали лидеров возродившегося англо-американского консерватизма<sup>35</sup>. Члены общества сыграли решающую роль в формировании нынешнего рыночно-центричного мира.

Изучение высказываний членов общества в его ранние годы показывает, что поначалу это движение было гораздо менее доктринерским, чем принято считать. Перед нами возникает целый ряд сложных внутренних противоречий, характерных для сторонников рынка в послевоенную эпоху. Первые члены общества стремились выделить философские основания рыночных свобод, но выражали глубокий скептицизм в отношении нетерпимости и иррациональности ни на чем не основанных политических абсолютов. Они стремились привлечь религиозных верующих и экономически обездоленных людей, которых, по их мнению, ошибочно игнорировали сторонники рынка в XIX в., но при этом сами демонстрировали враждебность к религиозному догматизму и перераспределяющему государству. Они прославляли достижения капитализма, но время от времени выражали беспокойство в связи с культурными и моральными последствиями этих достижений. Они превозносили свободу, но при этом подчеркивали жизненную необходимость в коллективных моральных традициях. Они защищали капитализм как теорию индивидуального выбора, но с большим подозрением относились к тому, что может принести политическая демократия. То, что объединяло этих людей, скорее подчеркивало, чем затушевывало, те разносогласия, которые их разделяли.

В результате идеологического отступления в период Великой депрессии и в годы Второй мировой войны все представления, казавшиеся общими для всей этой группы, были подвергнуты переосмыслению. Финансовый кризис и последовавшая политическая

нестабильность сохранили этих людей в общем убеждении, что необходима социальная философия, способная подняться выше абстрактных предписаний *laissez faire*. Они были едины в том, что, если ставить задачу спасения капитализма от тех губительных воздействий, которые постоянно разъедали его основания, ключевые принципы капитализма следует пересмотреть. Но их мнения резко и неизменно расходились, когда вставал вопрос, какие элементы капиталистического порядка священны, а какие можно изменить, какие моральные правила можно счесть абсолютными и какими средствами обеспечить их соблюдение в качестве таковых. Послевоенный консервативный интеллектуальный мир со всеми пунктами его имплицитного единодушия и междоусобных пререканий возникал из этой атмосферы неопределенности. Перечисленные проблемы были поставлены космополитичными интеллектуалами со всего Атлантического мира, которые сообща и искренне искали философские основы их социального порядка. Это обстоятельство не согласуется с распространенным мнением, что консервативный проект изначально был чисто локальным по происхождению и стратегическим по замыслу. Он был продуктом не консолидированного, а распавшегося мировоззрения.

Состояние неопределенности, характерное для продвижения прорывных взглядов в 1930–1940-х годах, проявлялось в неспособности (и отчасти ею усугублялось) достичь согласия по поводу понятийного аппарата, который многие считали двусмысленным или устаревшим. «Такие понятия, как “либерализм” и “демократия”, “капитализм” и “социализм”, в наши дни не могут обозначать никакую связную систему идей», — отмечал Хайек вскоре после окончания Второй мировой войны. Он видел в них «конгломераты совершенно разнородных принципов и фактов», которые были привязаны к определенным терминам в силу «исторической случайности»<sup>36</sup>. Используя эти ярлыки сегодня, мы постоянно впадаем в анахронизм. Как будет показано ниже, в период между войнами и в первые послевоенные годы термин «неолиберализм» имел (в тех редких случаях, когда применялся) значение, сильно отличавшееся от того, какое имеет в наше время<sup>37</sup>. Термин «либертарианец»/«либертарианский» не был знаком большинству членов Общества Мон-Пелерен и использовался очень редко. Члены общества почти единодушно отвергали термин «консерватизм», поскольку в их глазах он обозначал сохранение того самого статус-кво, которое они хотели изменить. «Традиционализму» и «неоконсерватизму» как политическим терминам только предстояло появиться в пока еще непредставимом

будущем. Отдельные попытки реабилитировать термин «вигизм» были скомпрометированы его архаическими коннотациями. А значение термина «либеральный», который в иных обстоятельствах мог бы стать фаворитом, было непоправимо изменено его растущим отождествлением с мировоззрением прогрессистов\*. Конечно, в некоторых случаях можно использовать эти термины, не искажая их современных значений: большинство первых членов Общества Мон-Пелерен были убеждены, что переосмысливают принципы либерализма, дабы предохранить его от дальнейшего упадка, а в послевоенных США экономисты – сторонники свободного рынка стали активными игроками в мире консервативной литературы, в среде консервативных разработчиков социально-экономической политики и активистских (*advocacy*) групп<sup>38</sup>. Но все эти классификационные нюансы не должны затемнять то ощущение беспокойства, неопределенности и разногласий, которое было характерно тогда для этих сообществ и их фразеологии инакомыслия. И если мы хотим понять динамику раннего периода, нам не следует полагаться на современные статичные изложения теории.

Таким энергичным, как в последние годы, отстаивание рынка стало лишь после долгого периода дискуссий и дебатов. С течением времени экономические и политические кризисы 1930-х годов уходили в прошлое, научные дисциплины все больше специализировались, а экономисты – сторонники свободного рынка находили новых сторонников в печатных СМИ и политических

---

\* Прогрессизм – идеология, направленная на пропаганду и осуществление социальных и реформ правительством. В США расцвет прогрессизма пришелся на конец XIX – начало XX в., а период политики реформизма 1900–1917 гг., которую проводили президенты Т. Рузвельт и В. Вильсон, в политической истории США получило название Прогрессивной эры. В начале 1930-х годов Франклин Рузвельт искал название для своей в сущности прогрессистской программы государственного регулирования экономики и выбрал не использовавшееся в США, но престижное и имеющее только благоприятные ассоциации слово «либеральный». Так получилось, что одновременно права на этот бренд предъявил Герберт Гувер и исход спора решился в ходе избирательных кампаний 1932–1940 гг. История борьбы за либеральный бренд рассказывается в книге: *Ротунда Р.* Либерализм как слово и символ: борьба за либеральный бренд в США. М.; Челябинск, 2016. В результате сегодня в США слова «либерализм», «либерал», «либеральный» означают комплекс идей и политических принципов, во всех отношениях противоположных классическому либерализму XVIII–XIX вв. Современный американский либерал стремится к всемогуществу правительства, является твердым противником свободного предпринимательства и отстаивает всестороннее регулирование, осуществляемое властями. Читателю следует учитывать эту особенность политической жизни, когда на страницах этой книги речь будет идти об «американском либерализме», противопоставляемому консерватизму (например, на с. 232). – *Прим. ред.*

кругах. Попытки возродить философию либерализма на новых основаниях и выйти за пределы статичных предписаний *laissez faire* утратили ту энергию безотлагательности, которая двигала им в ранние годы. Достигло зрелости молодое поколение экономистов, ориентированное на математический язык послевоенной экономической науки и чутко прислушивавшееся к политическим дебатам в общественной сфере эпохи холодной войны<sup>39</sup>. В начале 1960-х годов центральной фигурой этой новой когорты стал Милтон Фридмен. Он заново сформулировал ряд главных проблем экономической науки и без обиняков популяризировал достоинства рынка. Распространению его идей способствовало наличие аудитории, более восприимчивой к рыночной риторике, и появление организаций, лучше подготовленных к популяризации идей Фридмена, чем это было в начале его карьеры. Эти благоприятные возможности Фридмен в полной мере использовал: он отказался от осторожного языка предшественников и вновь придал рыночной риторике максимальную четкость. Капитализм, твердил он, это двигатель процветания, который вознаграждает заслуги и в подавляющем большинстве случаев приносит наилучшие результаты; многие проблемы современной жизни порождены ошибочными ограничениями его функционирования, а вовсе не его мнимыми недостатками. Решительность фразеологии Фридмена свидетельствовала, что моральные затруднения и нечеткость программ предшествовавшего поколения остались позади и началось великое убеждение.

История Общества Мон-Пелерен — это история взаимосвязанных провалов и успехов. Его члены приняли чрезвычайно амбициозную теоретическую программу и оказались не способны ее осуществить. То, что начиналось под знаком декларированного единства, вскоре обернулось разделением на группы, и дискуссии между ними скорее обостряли несходство позиций, нежели сближали их. Вместе с тем усилия общества по реабилитации свободного рынка в общественной сфере принесли впечатляющие плоды. Они способствовали видоизменению глобальной политики с такими последствиями, которые будут давать знать о себе еще многие десятилетия. Проследить трансляцию идей от поколения к поколению и их внедрение в политику равнозначно тому, чтобы выявить параметры их отклонения от первоначальных образцов, а пересечения этих двух линий, нисходящей и восходящей, вызывали чувство протеста у тех, кто стоял у истоков общества. С годами многие его основатели стали считать смелое отстаивание рынка,

которым занялись более молодые члены общества, искажением исходных идей. На мир, созданный по рецептам Милтона Фридмена, они смотрели со смешанным чувством восхищения и осуждения. История Общества Мон-Пелерен порой преподносится как пример редкого явления: группа интеллектуалов смогла оказать ощутимое влияние на политику своего времени. И гораздо реже в ней видят притчу об опасностях, которыми чревато успешное идеологическое воздействие.



# ГЛАВА 1

## ОТСТАИВАНИЕ РЫНКА ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

Весной 1933 г., почти десять лет спустя после того, как Кейнс провозгласил конец *laissez faire*, Фридрих Хайек поднялся на кафедру, чтобы прочитать инаугурационную лекцию в Лондонской школе экономики. Как и Кейнс, он избрал своей темой отход от классической экономической науки, но во всех остальных отношениях и обстоятельствах его выступление несколько не походило на лекцию Кейнса. За прошедшие годы мир погрузился в тяжелую депрессию, которая поставила под сомнение утвердившиеся догмы ведущих экономистов, — даже в тех случаях, когда их общественное признание росло. В отличие от изысканно-аристократической атмосферы, окружавшей Кейнса в Оксфорде, аудиторию Хайека составляли сотрудники учебного заведения, которому не исполнилось еще сорока лет; студентами его были в основном вольнослушатели, а располагалось оно по соседству с труппными кварталами<sup>1</sup>. Хайек был на 16 лет младше Кейнса, и его мало кто знал за пределами узкого круга социологов в Англии и его родной Австрии. Говорил он с сильным австрийским акцентом; поэтому многим слушателям было нелегко следить за его рассуждениями<sup>2</sup>. И хотя Хайек соглашался с Кейнсом в том, что социальная философия свободного рынка пришла в упадок, он хотел объяснить, почему правильно не праздновать это событие, а оплакивать его.

В числе слушателей Хайека были экономисты, симпатизировавшие его взглядам, в том числе Эдвин Кеннан, пожилой консерватор, преобразовавший экономический факультет Лондонской школы по своему вкусу, и молодой протеже Кеннана Лайонел Роббинс; он и организовал этот визит, в результате которого Хайеку было предложено место профессора. Обводя собравшихся внимательным взглядом, Хайек поспешил отметить, что среди экономистов не так уж мало сторонников свободного рынка. Проблема в том, сказал он, что их идеи пока не проявили способности влиять на широкую публику. Хайек не видел особой разницы между планированием и социализмом, а из государственных должностных лиц, по-видимому, мало кто сомневался в достоинствах планирования. «В этом смысле, — грустно заключил он, — сейчас, естественно, осталось очень мало людей, не являющихся социалистами». Негативный настрой общественного мнения привел инакомыслящих экономистов к убеждению, что

они «безнадежно разошлись с духом времени, предлагают ненужные советы, к которым общество не желает прислушиваться, и не могут влиять на ход событий»<sup>3</sup>. Хайек полагал, что его коллеги безусловно владеют научным знанием, позволяющим судить о мировой ситуации, но не имеют возможностей преодолеть разрыв между теорией и практикой.

На раннем этапе своей карьеры Хайек часто испытывал ощущение, что его взгляды не соответствуют духу времени, но никогда это ощущение не было столь сильным, как в начале 1930-х годов. По мере того как правительства принимали все более радикальные меры в связи с небывалым экономическим кризисом, теоретики, выступавшие против государственного вмешательства, все острее чувствовали себя изгоями. По всему Атлантическому миру они ютились в научных кружках, которые гордились тем, что думали иначе, чем большинство. В числе таких кружков можно назвать Лондонскую школу экономики, где теперь работал Хайек, Чикагский университет и Институт высших международных исследований в Женеве. В каждой из этих организаций ведущие экономисты выражали отчаяние по поводу направленности общественного мнения. Еще до переезда Хайека в Лондон Лайонел Роббинс пришел к выводу, что широкая публика никогда не поймет экономическую аргументацию. «Надежда на то, что экономическая теория когда-нибудь станет тем, что дилетант может понять без предварительной подготовки, — писал он в 1930 г., — обречена оставаться несбыточной»<sup>4</sup>. В Чикаго Фрэнк Найт впал в депрессию, растянувшуюся почти на все десятилетие и обостренную ощущением, что ошибочные общественные настроения отняли жизнеспособность у демократической формы правления. В 1934 г. он пришел к убеждению, что, по всей видимости, осталось «лет десять или, самое большее, двадцать до того момента, когда мы увидим конец всякой свободы слова в Соединенных Штатах и в той части либерального европейского мира, где она еще не исчезла»<sup>5</sup>. Еще до переезда в Женеву вынужденно покинувший родину немецкий социолог и экономист Вильгельм Рёпке заключил: пришло время «признать, что дело либерализма и капитализма стратегически проиграно даже там, где тактически они еще не побеждены»<sup>6</sup>.

Эти сетования порой предрекали даже конец света, но их общий настрой был вполне обоснован. В тот период ученые, выступавшие против государственного вмешательства, находились в крайней изоляции. Популярны газеты и журналы наперебой объявляли их взгляды пустой болтовней выживших из ума чудаков. Консерватив-

ные политические партии, которые противостояли угрозам коммунизма и фашизма на международной арене, в то время пытались выдержать внутренние экономические кризисы и больше не были надежным пристанищем для «правильной» экономической теории. Ведущие отрасли, стремившиеся сохранить протекционистские пошлины и выторговать монопольные привилегии у регулирующих органов, в лучшем случае оставались ненадежными союзниками<sup>7</sup>. И вопреки уверениям Хайека об обратном, внутри самого сообщества профессиональных экономистов голоса сторонников рынка звучали все тише. В американской научной среде по-прежнему господствовал имевший левую окраску историзм экономического институционализма, а в Англии репутацию ведущего экономиста как в научных кругах, так и в общественном мнении приобрел Кейнс<sup>8</sup>. Вскоре после выхода «Общей теории занятости, процента и денег» (1936) кейнсианство пропитало экономические министерства по обе стороны Атлантики, а экономисты в Лондоне и Чикаго находили все меньше союзников как в научных кругах, так и в обществе.

Для англо-американского мира маргинализация сторонников рынка в 1930-е годы остается уникальным явлением со времен Промышленной революции. Этот феномен отчасти можно объяснить потерей доверия к рынку, которая обычно сопровождает начало острых финансовых кризисов. Но хотя события, на первый взгляд, и задают темы для обсуждения, они не имеют полной власти над идеологической жизнью общества. Сколь бы обескураженными ни чувствовали себя экономисты на уровне общественных дискуссий, именно их идеи, доводы и представления в определенной мере формируют содержание и структуру дебатов. Это влияние более всего ощутимо в периоды неясности, когда устоявшиеся представления могут внезапно стать предметом широких общественных дискуссий. Разочарование Хайека можно отчасти отнести на счет духа времени, а отчасти на счет риторической силы послания, транслируемого им и его коллегами.

Сторонников рынка в Лондонской школе экономики и Чикагском университете объединял скепсис в отношении нарастающего вмешательства государства, но во всем остальном их позиции расходились чаще, чем совпадали. В Лондоне Лайонел Роббинс и Фридрих Хайек поначалу выражали сильные сомнения в способности правительства справиться с экономическим кризисом. Вину за спад они возлагали в первую очередь на экономический цикл, который как раз и был запущен государственным вмешательством, и утверждали, что дальнейшие поползновения государства приведут лишь

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)